

Глава 1

ЗАВТРА

- Я старая и толстая...
- Ты царственная и роскошная.
- Нет, я старая и толстая.
- Ты дура и дылда. Я тобой надышаться не могу!

Он поднялся с кровати, подобрал подушку с пёстрою половику, закинул её в глубокое кресло, разлаписто и кудряво занявшее целый угол. Походил босиком по приятному теплу деревянного пола, будто проверяя собственную устойчивость, и подошёл к окну... Сияющий поплавок луны танцевал в стремительной дымке облаков; полчища кузнечиков дружно выжигали серебряную чернь деревенской ночи; комната плыла сквозь перистые тени медленно, как в волшебном фонаре, — тюлевая занавеска шевелила плавниками.

Он потоптался у стола, включил настольную лампу и залюбовался — эх, и лампа же: брон-

6 зовый сатир держит в поднятой руке увесистый гриб густого жёлтого света — мёд текучий, золотой пчелиный рай.

И чего только не найдёшь на этом столе! Под приподнятым копытом сатира лежит серебряная гильотинка для сигар, с двойным лезвием (кто, интересно, курит здесь сигары?); уютно уселись друг в дружку две кофейные фарфоровые чашки, в верхней — сохлая бурая лужица. А чернильный прибор какой: чёрное дерево, золочёная эмаль, всё до блеска начищено, и часы, и обе чернильницы. Да на черта ж человеку ныне письменный прибор?! И вдруг вспомнил: такой же обаятельный *кавардак* был в мастерской у дяди Пети, на гигантской плоскости его рабочего стола. А приглядишься — всё под рукой, и всё необходимо, всё на своих местах. Так и тут: каждый предмет кажется уместным, и поставлен-положен в порядке, потребном именно хозяйке. И огромное окно, в котором *мчатся тучи, вьются тучи*, — и оно стоит в правильном месте: напротив кровати, чтобы, среди ночи проснувшись, увидеть, как скачет луна в бородатой улыбке разбойного неба.

Но главное, плыл по комнате, утягивая к нутряному теплу расхристанной постели, запах любимой, аромат её разгорячённого лона, — потерянная и обретённая мечта, сны, страсть, тайная суть всей его почти минувшей жизни. Всё, что обрушилось на него часа три назад, выдернуло из годами накопленной хандры, из обрыдлых скитаний; что контузило, швырнув лицом,

дрожащими губами в воронку взрыва — в благоуханную тишину её незнакомой полной груди, белой шеи, длинных сильных ног, в тисках которых минут пять назад блаженно содрогалось его тело.

— А этот шеф-повар на все времена, — осторожно заговорил он, покручивая и наклоня козлоногого так и сяк, отчего жёлтая патока света лениво перетекала со стола на стену, доплёскивала до кровати, золотила голое плечо Надежды, огнисто вспыхивая в волосах. — Этот велеречивый Цукат... он тебе — кто?

— Он мне — душевный раздолбай.

Хороший правильный ответ. Приструнить чудовище. В незапамятные времена он бы кинулся в ванную проверять — сколько зубных щёток стоит в стакане.

«Начинается, — думала она, мысленно усмехаясь, с томительным потягом перекатываясь на бок и уютно подминая подушку под локоть. — Полюбуйтесь на него: уже прощупывает границы вернувшихся владений. Неисправим!»

— ...и мы же договорились: всё — завтра...

— Завтра, завтра, — поспешно согласился он. Сатир мигнул, погас и вновь озарил напряжённое и уже страдающее лицо, которое совсем недавно восходило и восходило над ней в изнеможении расплавленного счастья.

Они и впрямь договорились.

Едва выпроставшись из первой то ли сшибки, то ли погони друг за другом, то ли совместного

8 улепётывания по тропинке длиною в жизнь; едва, откинувшись на подушку, ещё задыхаясь, он простонал:

— Годами... го-да-ми!..

Надежда, прикрыв ладонью ему губы, строго сказала:

— Завтра!

Сейчас, подперев голову рукой, она молча следила за тем, как со сдержанной опаской он осваивается в комнате, *в её спальне*, в её любимом логове, — ещё робея, ещё не понимая своего места: гость? хозяин? бывший муж? новый любовник? — как сторожко двигаются ноги его, плечи, спина... Смотрела и думала: надо же, как жизнь сохранила это поджарое тело, даже досадно. И чего он вскочил, будто кто за ним гонится, и кого высматривает в окне, в тёмной деревенской глуши? Нет, приказала себе, не думать, не задавать вопросов. Всё — завтра...

Последние часы она и сама переплавилась в чьё-то молодое-пытливое тело и жадно плыла, как в отрочестве — в реке или в бассейне, с удивлённой радостью ощущая гибкую хватку потаённых мышц, очнувшихся от многолетней спячки, и сладость узнавания его естества, его самозабвенной яростной нежности. Одного лишь боялась: вот закончится ночь, они увидят морщинки друг друга и осознают всю тщету, всю запоздалость этой встречи; навалится вновь одиночья тоска, протяжённая пытка окаянной разлуки, трусоватая гниль его давнего предательства, — вся эта горечь отравленной пусоты.

Тремя часами ранее, едва Изюм деликатно и огорчённо притворил за собой дверь веранды, Аристарх, с грохотом отшвырнув с дороги стул, молча ринулся на неё, рванул к себе, сграбастал!

Она пыталась отпрянуть, вырваться... Шарила онемевшими руками по его спине, упиралась ладонями в грудь. Горло дрожало, не в силах выдать ни звука:

— ...нет... я не... н-не смей! — всё это полузадушенным писком.

— Ну, хватит! — рявкнул он, обоими кулаками впечатывая её в себя так, что сквозь свитер она чувствовала, как гулко-дробно колотится его сердце. — Мало тебе, что ты с нами сделала?!

Ткнулся носом, губами в её шею, за ухо, шумно и протяжно вдохнул, как ныряльщик перед погружением в глубину. И пока они стояли так на пороге кухни, в радужной арке света от лампы — сцепившись, сплетясь в странном разрывающем объятии, — поток жалких суетных мыслей пронёсся в её голове, защищая сознание от того подлинного, невероятного, что происходило в эти вот минуты: «Душ не успела с дороги... ужас... потная мерзкая старуха. А этого изгнать бесполезно! Всю жизнь... ни капли тепла...»

Ноги дрожали, как после долгой изнурительной болезни.

Аристарх вновь глубоко втянул в себя воздух:

— Наконец-то! Четверти века не прошло... — отшатнулся, обхватил ладонями её лицо, обежал судорожными пальцами, обыскал синими волчьими глазами:

10 — Хрен ты теперь от меня сбежишь, осужденная! Я был тюремным врачом, да и сам стал отбросом общества. Я просто тебя убью!

«Главное, до постели не допустить...» — думала Надежда в панике, ужасно ослабев, как-то внутренне обмякнув: её тянуло бессильным кулём свалиться на пол, в глотке застрял протестующий вопль, голова плыла в оранжевом пожаре — как на Острове, когда он напоил её, пятнадцатилетнюю, дорогим Бронькиным рислингом. Мысли вскачь неслись, сталкиваясь и топча одна другую: «Не допустить, чтоб увидел толстую задницу, сиськи эти пожилые... Нет, никогда, ни за что!»

...Минут через десять они оказались в её спальне, как-то умудрившись доковылять туда по тёмной лестнице, по-прежнему обречённо сплетаясь, поминутно заваливаясь на перила, обморочно нащупывая губами друг друга. И уже совсем загадочным образом исхитрились одолеть пуговицы-петли, рукава, штанины и «молнии», ежесекундно бросая это занятие, чтобы в темноте вновь нащупать, схватить и не отпустить... — будто неведомая сила могла растащить их по далёким окраинам вселенной.

— Молчать, это медосмотр, — сказал он, освобождая её грудь от лямок-бретелек и прочих ненужных материй. — Вряд ли сегодня доктор сгодится на нечто большее, от страха.

И она засмеялась и заплакала разом: с ума же сойти, двадцать пять лет! — и оба, неловко рухнув на кровать, закатились к стенке, где затихли в медленном, нежном, сладком ожоге слившихся тел.

...Птица заливалась где-то рядом, в ближней тёмной кроне за карнизом — неистово, пронзительно, острыми трелями просверливая темноту. Аристарх и сам не заметил, как отворил окно — видимо, когда в очередной раз его сорвало с постели. Его нещадно трепало, а время от времени даже подбрасывало, и тогда он пускался рыскать по комнате, пытаясь унять трепыхание в горле странного обжигающего чувства: счастья и паники.

Хотя самое первое, самое пугающее было позади.

Смешно, что он боялся, как пацан, — матерый самец в расцвете мужской охотной силы. Да нет, думал, не смешно совсем. И никогда бы не поверил, что с первого прикосновения их разлучённые тела, позабывшие друг друга, смогут мгновенно поймать и повести чуткий любовный контрапункт оборванного давным-давно, древнего, как мир, дуэта. Это было похоже на отрепетированный номер, нет, на чудо: так с лёту подхватывают обронённую мелодию талантливые джазисты; так, не переставая болтать после трёхнедельной разлуки, бездумно сплетаются в собственническом объятии многолетние супруги.

Но жизнь была прожита, и прожита без неё; и в отличие от девичьего образа, за минувшие годы истончённого до прозрачности в воспоминаниях и снах, там, за спиной его, на истерзанной кровати лежала зрелая сильная женщина, его прекрасная женщина, дарованная ему детством,

12 юностью, судьбой... и наотмашь, чудовишно отнятая.

Сознавать это было невыносимо, гораздо больнее, чем просто жить без неё изо дня в день, из года в год, — как он и жил все эти четверть века.

Он вскакивал, метался, замирал перед окном и возвращался к ней, до изнеможения стараясь вновь и вновь слиться до донышка, очередным объятием пытаюсь навсегда заполнить все пустотелые дни их бездонной разлуки... Он уже чувствовал, как она устала, и понимал, что надо бы отпустить её в сон.

Но невозможно было представить, что он опять останется один, что она опять исчезнет — хотя бы и на час. Ночь раздавалась и раздваивалась, струилась, убегала по чёрным горбам шепотливых крон; стрекот кузнечиков давно рассеялся по траве и кустам, зато кто-то залихватский тренькал и пыхал тлеющими угольками неслышно подступающей зари...

— Это что за...

— ...поёт, в смысле? Может, дрозд...

— ...нет, соловей, конечно... Дрозд в конце пощелкает так, а этот... Слышь, как сверлит и перехватывает... В Вязниках, помнишь, они и на прудах, и в городе...

— ...и в зарослях жимолости-бузины... а уж в садах!

— Мама знала всех птиц...

— ...у тебя рука, наверное, занемела...

— Нет, не шевелись! Прижмись ещё больней. Двадцать пять лет...

— ...молчи!

— ...двадцать пять лет мы могли вот так, обнявшись, из ночи в ночь, из года в год! Что ты наделала с нашей жизнью, мерзавка!

— Перестань! Ну, перестань, умоляю... лучше про маму.

— ...мама очень птичьим человеком была. Знала все их имена и кто как поёт... Когда мы с ней шли куда-то, по пути показывала и объясняла. Я всегда удивлялся: «Откуда ты знаешь?» Она лишь улыбалась. А потом, годы спустя, понял, когда узнал...

— Узнал — что?

— Её бабушка была известным фенологом... орнитологом? — ну птичьим профессором.

— Это которая — с маленькой мамой по поездкам, и руки примёрзли к поручням, и умерла в Юже на станции?

— ...да-да. Ты всё помнишь, отличница. Боже, что ты натворила с нами, что ты натворила, горе какое...

— ...а соловьёв ходили слушать на пруды. На первый и на третий. Там островок питомника тянулся в сторону Большотихи, смородинный такой островок, одуряюще пахло. Ты стал... таким...

— ...м-м-м?

— ...другим, новым. Тело... повадка иная...

— ...Я старый хрен. А ты разве помнишь меня — прежнего?

— Я помню всё, каждый раз...

— ...ты вспоминала...

— ...каждую ночь. Что это за шрам тут?

14 — ...ерунда, заключённый пырнул осколком лампы. Не убирай руки, да, так! Ещё... не торопись... господи... господи...

Ей подумалось: а я ведь и забыла, как это вообще бывает, как это... ошеломительно. Но то была другая любовь: властная, неторопливая, взрослая. Оба они изменились, но сквозь биение пульса, сквозь кожу давно разлучённых тел с первого прикосновения жадно, неукротимо пробивалась та, предначертанная тяга друг к другу, та *положенность* друг другу, которую не уберегли они и вдруг вновь обрели — бог знает где, в какой-то деревне, посреди вселенной, посреди — да и не посреди уже, — остатней жизни...

— А ты знал, что мы встретимся?

— Никогда не сомневался...

— ...я с утра чего-то ждала, психовала... даже с работы ушла...

— ...и чего, думаю, меня тянет к этому балаболу в бригаде, на что он мне? Вечно какую-то хрень несёт...

— ...а когда возвращалась, чудом не столкнулась с лошадьё. Белая, смиренная такая кобыла, на ней — парнишка. У меня чуть сердце горлом не выскочило... А он, дурачок, совсем не испугался, представляешь? — к окну склонился и говорит, улыбаясь: «Ты что, совсем меня не ждала?»

— ...думаю, какого чёрта согласился к нему ехать, деревня какая-то, опять его болтовня... И вдруг он говорит: «Оркестрион!» — а у меня сердце: «Бух!» И говорит: «Соседка эксклюзивная...»

— ...а часов с шести вечера уже просто знала, — ждала. Потому так разозлилась, когда Изюм со своим: «Эй, хозяйка!» — появился...

— ...и ударило уже на ступенях веранды: сначала — запах, как в доме на Киселёва, потом — голос, и, как в снах все эти годы, — огненная вспышка волос! Дальше не помню...

Где-то звали рассвет петухи, по окрестным дворам разногласно брехали собаки, а с опушки ближнего леса то и дело задышливо ухал филин.

Ночь тронулась в обратный путь, и небо повисло над крышами деревни исполинским куском ветчины, с розовеющими прослойками зари. Слепая луна застряла в нем алюминиевой крышкой от пива.

Он подошёл к окну, выглянул наружу, дав прохладному воздуху себя обнять, окатить волной и слегка успокоить. Вернулся к Надежде, неподвижно лежащей лицом к стене (мелькнуло: библейская жертва под занесённым ножом), тихонько прилёг сзади, уже не смея будить. Лишь продел обе руки у неё под грудью, сцепил их, вжался всем телом и замер, тихонько поглаживая подбородком её плечо. Бормотнул еле слышно: «Это моё».

— М-угу... начертай: «Здесь была талия», — отозвалась она сонно, хрипло.

— Вот здесь... а здесь? — нежно провёл пальцем линию вдоль бедра.

— Здесь задница. Можно подняться на эту гору... или укрыться в тени этой туши.

— Я тебя вышвырну из постели, если не прекратишь оскорблять мою красавицу жену.